

Лето 1942 года. Острогский район. Немцы уже были в Старожевом, однако на краю села, в Остроге, относительное спокойствие. Разгорался солнечный июльский день. В открытое окно веяло ароматом из сада. И шестнадцатилетняя Нюра Иванова вовсе не думала об опасности. К ней пришла подруга. Девушки балагурили о чем-то, даже беззаботно смеялись, бренчали на балалайке. Мать, Татьяна Дмитриевна, несколько раз неодобрительно прерывала их и с тревогой выглядывала на улицу. В саду возился отец. Накануне колхозные механизаторы, призванные в армию, поставили у его усадьбы четыре трактора, разобрали машины и просили: «Ты, батя, сохрани все это». И сейчас старик закапывал ящики с частями машин. Вдоль сада, между яблонями был вырыт окоп. А за ним простиралось колхозное поле, где колыхалась под ветром созревающая рожь.

Вдруг началась стрельба, неподалеку разорвались первые снаряды. Сергей Григорьевич приказал всем укрыться в окопе. В нем поместились все шесть человек, бывшие у Ивановых в доме: тетя, мать, отец, Нюра, сестренка ее убогая и подруга. Вскоре послышалась чужая речь: по садам и огородам шла первая цепь вражеской пехоты. Четыре солдата в незнакомом обмундировании остановились перед окопом Ивановых, непонятно заговорили между собой. Сергею Григорьевичу зна-

ками приказали вылезти. Трое солдат повели его куда-то. Один остался. На него со страхом глядели из укрытия пять пар глаз. Злобное лицо фашиста не предвещало ничего доброго. Какое-то мгновение он рассматривал женские лица, потом, не торопясь, достал гранату и, отступив, ловко бросил в окоп. Раздался взрыв. Дым, гарь, комок земли — все смешалось. Нюра почувствовала, как больно обожгло ей правую сторону тела, лицо и глаза... Одна за другой выбрались из развороченного взрывом окопа тетка, мать, сестренка и подруга. Они пошли во двор, и почему-то никто из них не оглянулся.

Солдат не уходил. Нюра сгоряча тоже поднялась и инстинктивно кинулась в рожь, подальше от страшного человека. Но он настиг ее и ударил прикладом. Девушка устояла. Второй удар сбил ее с ног, она вскрикнула и упала навзничь. Палач зашагал прочь. На крик прибежали родные и соседи. Нюра была окровавлена, страшно вытекал правый глаз... Она уже не видела, как в соседнем саду европейские изверги били отца. Били дико и исступленно. При каждом ударе откидывалась его седеющая голова. Он изредка выкрикивал:

— За что? За что бьете?

Чем-то уж очень не понравился оккупантам Сергей Григорьевич. Они сорвали с него одежду, стали вырезать и сдирать страшными лентами кожу со спины, рук, с груди... Натешившись вдоволь, они броси-

ли его в брызги, взмоchanнели и бездн-ханного. В эту же время застрелили брата.

Нюру положили на кровать. Соседка, Агриппина Васильевна Осьминина, стала вынимать иглой осколки. Их было очень много. Была поражена вся правая сторона: рука, нога, весь бок, лицо, глаза. Только на лице Агриппина Васильевна вытащила семьдесят два мелких осколка. Раненые глаза боялись трогать. Лицо девушки посинело и распухло. И свет померк в глазах...

На другой день к Ивановым пришли два венгра. Один из них спросил Дмитриевну:

— Где дочка, пук-пук?

Женщина в отчаянии распахнула дверь комнаты:

— Идите, добивайте!

Но один из пришедших оказался врачом. Он прошел к раненой, раскрыл небольшой чемодан, снял бинты, покачал головой, при-мочил чем-то раны, наложил свежие повязки.

Когда гитлеровцы выгнали население, Отрог эвакуировался последним. Татьяна Дмитриевна вела на запад дочерей, горбаченькую и слепую... Тяжелую и голодную зиму они проведут на хуторе Ключи под Синими Липягами. Раны у Нюры гноились, в них завелись черви. Выходили и выходили осколки. Молодой организм выдержал, постепенно зарубцевалось тело. Но мир был темен для девушки, она ничего не видела. Ждала встречи с врачами, надеялась на чудо. После освобождения от фашистов Нюру будут лечить окулисты. Но результаты неутешительные. В шестнадцать лет она стала инвалидом первой группы.

Я увидела Анну Сергеевну много лет спустя. Она выглядела еще молодо. Фигура стройная, черты лица приятные, гладко причесанные русые волосы. Глядят, напряженно глядят ее серые, несколько странные глаза. Но они не видят: правый глаз совсем мертв, а левый видит только на два процента. Она различает только яркие цвета, но очертаний предметов не видит. И жизнь Анны Сергеевны — не жизнь, а сплошное подвижничество. Были и желания, и потребности человеческие. Но всегда угнетало сознание неполноценности. Жгла сердце едкая обида. В минуты отчаяния не раз восклицала: «Хоть бы руки или ноги не было — все равно легче было бы».

И посылала проклятия на запад.

Ожкупанты выгнали население нескольких улиц: Глиновки, Полечки, Романов порядка, Бугра... Люди пока размещались на северной окраине села, в нашем колхозе имени Коминтерна. Размещались главным образом в кирпичные избы. У нас было все-таки потише.

А подожженная фашистами Киселевка горела почти сплошным пламенем. На других улицах тоже пылали хаты. Женщины метались по пожарищам, спасая детей и всякую рухлядь. Вот не своим голосом орет Славик Лебедянский, отбившийся от матери. Его забирают женщины: «И куда она, Шура, делась?»

К нам из Киселевки пришла с матерью Настя Иванова, или Родехина, как их еще называли по какому-то прадеду. В селе много одинаковых фамилий, поэтому различают еще названия «по двору». Мы с Настей родственники: наши бабушки родные сестры. Она года на три старше меня, уже окончила Давыдовскую среднюю школу и выглядела вполне сложившейся, взрослой. Не одна я завидовала ее редкой красоте. В ее правильных тонких чертах, в спокойном взгляде, во всем облике было торжественное и светлое обаяние. Все Родехины были красивы. Но Настя лучше всех. Одевалась она тоже изысканно. Когда бабушка, бывало, приглашала родственников в гости, то Настя часто приходила к нам со своей троюродной сестрой, Дусей Осьмининой, которая тоже была интересной. Они входили к нам — и в хате сразу светлело. К вечеру девушки обычно удалялись в бабушкину горницу, долго занимались там своим туалетом, шептались, готовились к чему-то таинственному и непонятному для меня. А я, усевшись на пороге, наблюдала за ними. Они, казалось, не замечали меня.

Теперь меня поразила необычная одежда Насти. На ней старая юбка, грубая крашеная кофта из домотканого холста и поношенный материн платок. Все это так не шло к ее чистому, прекрасному лицу, к выточенной грациозной фигуре.

— Ты тоже переодевайся, — говорит она мне.

Бабушка с готовностью подхватила эту мысль. Мне нашли старую паневу и просторную женскую рубаху. Я надела их сверху сво-

его платья. Несмотря на жару пришлось покрыть платок. В довершение всего бабушка вымазала нам лица сажей и приказывала «косоротиться» при появлении солдат. Мы знали уже, что вчера они, согнав жителей на соседней улице, выбрали нескольких женщин и увели с собой. А в каждом прилично одетом мужчине оккупанты подозревали коммуниста. И люди переодевались в лохмотья. Михаил Романович говорил, досадно сплевывая:

— Они думают, что, если я не коммунист, так у меня нет даже чистой рубахи.

Настя, вероятно, недавно сделала завивку, а теперь, сидя у нас на полу, безжалостно срезала с головы пышные локоны. Они роскошными волнами лежали вокруг нее, искрясь и переливаясь на солнце. Женщины одобряли:

— Отрастут после, такие же будут...

Через некоторое время началась стрельба. Все лежали на полу, а мы с Настей даже под кроватью. Обсуждали очередные новости. Убили деда Никулушку Осьминина, мужа покойной бабушкиной сестры, Агрипины. Он выглянул на улицу — солдат выстрелил в него. Соседей выгнали, а тело старика так и осталось лежать распахнутым на пороге своего красивого домика.

Говорят, совсем обезумела от горя Матрена Каширина. Убиенных мужа и сына похоронила в саду. В Киселевке умер дед Егор Образцов. Пришлось закопать за сараем.

Несколько женщин пошли садами из Самодуровки в свой переулочек посмотреть, что там дома делается. Гитлеровцы задержали их. Приказали раздеться, долго глумились и надругались над ними... Несчастные вернулись истерзанные, невменяемые. Одна из них сквозь слезы сокрушалась:

— Хата сгорела — ладно, скотина пропала — бог с нею. А вот самих нас опоганили — как это пережить? Что мужьям скажем?..

Не выходя из своего укрытия, и листая томик Пушкина, заучивала наизусть «Гир в во время чумы»:

Царица грозная Чума
Теперь на нас идет сама.
И льстится жатвою богатой,
И к нам в окошко день и ночь
Стучит могильною лопатой...
Что делать нам? И чем помочь?

Мне казалось, в нашем положении было нечто подобное.

Оккупанты провели двух красноармейцев. Запыленные, обезоруженные, они шли, опустив головы, подталкиваемые штыками конвоиров. Совсем еще молодые. Мы долго смотрели им вслед. Когда процессия скрылась за животноводческими постройками, прозвучали выстрелы.

Ватага мадьяр с шумом ввалилась на наш двор: нас тоже выгоняли. Один объяснял нам:

— Два часа поле: будет бой, пу-пу...

Солдаты вывели из сарая корову, нашу косорогую Старку, как звала ее бабушка. Мама кинулась к ним:

— Как же мы будем без коровы? У нас дети, — она показала на Асю и нашего двоюродного братишку Петю, которые стояли рядом. Но никто не слушал ее.

— Бросьте все, не оставляйте Ваньку одного! — кричит бабушка.

Мы окружили отца и так все вышли на улицу. Я взяла свое пальто. Мама завязала в узел детские ботинки. Бабушка прихватила с собой два накануне испеченных пирога. Остальное все осталось. Мы поверили мадьяру и надеялись скоро вернуться. Всю постель и верхнюю одежду мы свалили в погреб, под полом в хате зарыли сундук от пожара. Продукты и ценные вещи тоже поставили в погреб. Тетя прятала свое добро понадежней, заблаговременно... Нас торопили. Огромный людской поток направили в поле. Люди вели с собой коров. А нашу Старку солдат привязывал к пароконному ходу. Она смотрела на удаляющуюся бабушку и тревожно мычала. Мы видели ее последний раз.

Все новые толпы людей выходили из улиц, переулков и вливались в общий поток. Стоял разноголосый гам, ревели коровы, плакали дети... Шли по полю нашего колхоза, по хорошо знакомой дороге. Немилосердно палило солнце. Восточный ветер гнал горячие волны зноя. Вдоль дороги подмятые машинами стебли цветущего подсолнечника. Густым шлейфом вилась пыль, взбитая сотнями ног.

Навстречу нам ехали на мотоциклах и шли солдаты в желто-зеленых френчах и касках. Некоторые из них щелкали фотоап-

паратами. Другие проявляли живой интерес к содержанию свертков, которые люди несли с собой, бесцеремонно останавливали и обирали. Нам тоже не пришлось есть бабушкины пироги. Их взял мадьярский офицер с длинными усами.

Прошли Вершинку — центр поля нашего колхоза. Вот и Мелки — поле, расположенное по меловому склону оврага. Люди жадно пьют холодную ключевую воду в овраге. Их так много, что, казалось, родник должен иссякнуть, когда они напьются. Выгнали все село. Вот люди с Глиновки, Бугра, с середины села, из Прогона. Я вижу учителей. Мне стыдно за свою одежду. Ребята показывают на меня пальцами и смеются. Спрятавшись за бабушку, снимаю с себя паневу и рубаху. В них мне неудобно и нестерпимо жарко...

Людской поток гудел. В огромной толпе несколько всадников. И вдруг чей-то вкрадчивый голос сказал конвоиру:

— На белой лошади коммунист.

Кто-то неосознанно повторил:

— На белой лошади...

Люди оглядываются... Прогремел выстрел. С белой лошади упал всадник в темном костюме. Так погиб председатель соседнего колхоза Шкрябин. По дороге из Сторожевого на Мастюгино были убиты Матвей Трофимович Лисунов и Стефан Осипов.

Огромным пестрым табором расположились эвакуированные в Мастюгино. Приказали идти в село. На ночлег нас загнали на скотный двор. В пустых животноводческих помещениях было просторно и места всем хватило. Люди отыскивали места посуше, несли солому, располагались в сараях. Кто-то сообщил, что в старом помещении церкви находятся русские пленные. И вот все взоры устремлены туда. Массивное кирпичное здание с поржавевшим куполом окружено зеленью. Мирская дверь заперта на огромный замок. По сторонам, как истуканы, два солдата с винтовками.

С наступлением темноты все забились в сарай. Очень хотелось есть. Как пригодились бы бабушкины пироги! В птичнике, где мы находились, стоял душный смрад. Выходить было страшно. В полночь стреляли, прочесывали местность. Едва забрезжил

рассвет, многие стали пробираться к выходу, жадно вдыхая свежий воздух. У тяжелой церковной двери по-прежнему торчали зловещие фигуры солдат. Все надеялись на возвращение домой. Но нас повернули в другую сторону — на Платаву. Каждый из нас не раз оглянулся на Сторожевое. Опустевшее родное село замерло в настороженной тишине, скрылось в зеленых кущах садов.

С Мастюгина начинался Репьевский район. Я впервые была в этой стороне. Справа темнел Оськинский лес, за ним — село Оськино. А дальше далеко тянулись степные просторы. Кое-где встречались овраги. В этом году, чередуясь с ясной погодой, дожди обильно полили землю, шли как по заказу. На полях зрел богатый урожай. Люди говорили: «Выйдешь в поле — душа радуется». Колыхались тяжелые волны созревающей пшеницы, в рост человека поднялась рожь, распустил свои богатые золотые соцветия подсолнечник, молоком белели цветущие гречиха и картофель... Только вот кому убирать придется этот богатый урожай? Кому он достанется?

На фоне этой красоты по сторонам дорог лежали трупы венгров, немцев и наших солдат, страшно распухшие от жары. В них копошились черви, несло зловонием. Смерть витала вокруг.

Людской поток растянулся между селами: передние уже входили в Платаву, а задние только выходили из Мастюгино. Никто из нас никогда не видел такого скопления народа. Даже не верилось, что в нашем селе столько людей... От голода, как говорил отец, до тошноты *сосало под* ложечкой. Асе и Пете кто-то дал по кусочку хлеба, но они не наелись. Бабушка ворчала:

— Дома всего было много, а никто ничего не ел.

День был опять жаркий. Мы шли не спеша, потому что конвоиры были где-то сзади. На коротких привалах женщины доили коров и тут же отдавали молоко детям. Они пили его прямо из ведер и подойников по очереди.

Толпы людей потянулись на запад и по другим дорогам. Рассказывали, шла без конвоя небольшая группа эвакуированных мимо небольшого болотистого лесочка.

Оттуда веяло прохладой. Присели отдохнуть. Вдруг из-за кустов показался красноармеец. Подошел, поздоровался, спросил, далеко ли до Дона. Их семеро, они пробираются к своим. Женщины собрали у кого что нашлось — куски хлеба, сухари, слили молоко в одно ведро и отдали голодным солдатам.

А у нас, на главной трассе, конвой. Тем, кто идет сзади, хуже: конвоиры не дают разбредаться. Большая девушка отстает от других. Усатый венгр бесцеремонно стреляет в нее. Люди в ужасе сбиваются теснее, ведут под руки ослабевшую, судорожно рыдающую мать. Она все оглядывается назад, на рухнувшее тело дочери... А утром старуха украдкой возвращается к трупцу, пытается нести его в соседнее село и убеждается, что не в силах это сделать. А помочь некому. Проходящие и проезжающие мимо вражеские солдаты подозрительно косятся на несчастную одинокую женщину, рыдающую над убитой девушкой. Стащив мертвую в сторону от дороги на траву, она, ничего не видя от слез, оставляет ее.

Опять ночлег на скотном дворе. И снова переход под конвоем по знойной пыльной дороге до Краснолипия. Здесь нам разрешили остановиться. Мы три дня ничего не ели. В пустых желудках урчала вода. Голова кружилась, и в глазах темные круги. И есть как-то уже не очень хотелось. Чувствовалась предельная слабость, с ног валила усталость.

Хозяйка нашей квартиры, женщина средних лет, с большим участием отнеслась к нам. Она сварила большой чугун молодой, вкусно пахнувшей картошки, которую мы проглотили сразу. (Ведь с тетей и Петей нас было восемь человек). Немного удивленная тетка Анна снова принялась чистить картошку... Тетка Анна из Краснолипия — простая русская женщина. Широкая черная юбка с такой же кофтой, «плат узорный до бровей» составляли ее одежду. Приятное лицо с правильными чертами, добрая, грустная улыбка. Как благодарны мы были ей за внимание и искреннюю заботу! В течение трех недель, которые мы провели в этом селе, она делилась с нами продуктами как могла. Подрыла для нас почти пол-

огорода картошки, сама варила нам ее. А по вечерам под ее руководством мы сооружали себе постели. При этом она проявляла немало изобретательности. И все это с готовностью и неподдельной теплотой. Только и слышали от нее:

— Вы не стесняйтесь... Кто знает, может, и мне придется когда-нибудь скитаться...

— Одевайтесь пиджаками, авось они не пропадут.

— Можно воды нагреть — помойтесь...

И от этого теплее становилось на душе.

Ежедневно ранним утром мама, тетя и бабушка, забирая с собой детей, уходили просить подаяние. Неохотно шел на этот промысел двенадцатилетний брат. Когда мама предоставляла ему самостоятельность, он часто возвращался ни с чем, просяживая где-нибудь определенное время. Или просто слонялся по селу, рассматривая чужеземцев. А вечером Алексей делился с нами новостями, своими впечатлениями. Сообщал, сколько танков прошло на Сторожевое, в каких местах стояли немцы, в госпиталь привезли раненых, кого-то страшно били солдаты... А однажды сообщил, что видел у немцев связанному на телеге белокурого курского юношу, Николая. Мы вспомнили, как в Сторожевом один из оккупантов спрашивал его:

— Ты немец?

Николай спокойно взглянул на спрашивающего и с достоинством ответил по-немецки:

— Нет, я русский.

Немец презрительно улынулся...

Умирала раненная осколком в голову Дуся Панкова, двадцатилетняя девушка, старшая в семье. На ее попечении были осиротевшие два меньших брата и сестра. Их покойная мать была сводной сестрой нашей мамы. Еще в дороге Дуся чувствовала себя плохо. Вероятно, нужна была операция, в крайнем случае — медицинская помощь. В Краснолипии она совсем слегла. В селе располагался военный госпиталь. И наши женщины осмелились повести ее к врачу-венгру, он вышел к ним в халате, высокий, седеющий. Они, как умели, объяснили ему положение. Он осмотрел рану, наложил свежую повязку и сказал, чтобы к

нему больше не приходили. Видимо, боялся, как бы хозяева не заподозрили его в сочувствии к русским.

К раненой приходили родственники, сседи, знакомые приносили ей скудные гостинцы. Каждый день навещала ее мама. Она и раньше, в мирное время, как и другие две ее сестры, заботилась о сиротах. Дюся не смотрела ни на кого, не узнавала людей, была безразлична ко всему окружающему, а когда ее окликали, отзывалась глухим стоном. В каких-то сенях прямо на полу, на соломе, измученная, посиневшая девушка вот уже несколько суток мучилась в предсмертной агонии. Металась и не разговаривала, только кого-то манила пальцем...

— Что тебе кажется, скажи? — спрашивали ее. Но Дюся молчала. Красивое лицо изуродовано страданиями. Она билась судорожно, исступленно. Ноги и руки в ссадинах и кровоподтеках. Искусанные губы кровоточили... Старухи сокрушенно качали головами, крестились:

— Что ж ты, Господи, так ее мучаешь, ай она грешнее других?

И вот она стала затихать. Конвульсии тела реже и реже. Все смотрели на нее, плакали... Еще несколько минут — и страшное спокойствие застыло на пепельном лице, по которому ползали серые, как будто тоже неживые вши... Все удивлялись: откуда они взялись?

Мертвую обмыли, одели, положили в комнату на лавку. Женщины вздыхали:

— Отмучилась... Из земли взята и в землю отыдешь... (Мне была непонятна эта фраза). Я с ужасом смотрела на покойницу. Пришли на память пушкинские строки: «Ее любовь, ее желанья исчезли в урне гробовой»... А у Дуси и гроба не было. Жутко! Похоронили ее кое-как, на скудные средства, собранные подаянием. Кто-то из соседей дал доску. Подкопали могилу под бочок, прикрыли тело этой доской, закопали. И безымянная могила затерялась на чужом кладбище...

Вечером мама возвращалась, высыпала на стол из платка собранные куски хлеба, делила между нами. Отцу выбирала по-

лучше. Он чувствовал себя плохо. Есть было нечего, а о диете и помышлять не приходилось. Дома, мучимый приступами болезни, этот веселый и добрый по натуре человек часто выгонял нас и, скорчившись от боли, безобразно, дико ругался. Доставалось всем, как он говорил: и богу, и черту, и отцу, и сыну, и святому духу. Теперь он часто корчился у плетня, на все лады проклиная Гитлера.

Напротив нашей квартиры располагалась колхозная пасека, скрытая высокой изгородью, с воротами, как у купеческого дома. Однажды утром к нам зашел пасечник, невысокий старик с коротко остриженной седой бородой. Не присаживаясь, он заговорил:

— Люди добрые, возьмите себе меду. Разнухали проклятые. Того гляди, опять придут.

И он пошел дальше по улице, предлагая свое угощение. Через некоторое время отец принес светлые, душистые соты, и мы с удовольствием ели мед.

Бои на Дону не ослабевали. Иногда, собравшись группами, мы с тоской смотрели на восток, в сторону Сторожевого. Оттуда доносились глухие раскаты взрывов. Временами дымный горизонт озарялся пламенем... Сторожевая линия русского государства.

Однажды вечером кто-то из нас замечает в небе, далеко к югу от нас два самолета. Они обстреливают друг друга, головокруглительно петляя, стремительно меняя направление, следы трассирующих пуль полосуют небо. Схватка была короткой. Один самолет задымился, вспыхнул и ярким факелом понесся вниз. Другой взмыл вверх и, развернувшись, через мгновение уже плавно удалялся в восточном направлении.

— Наш, наш победил! — ликовали мы. —

— Вот как он его долбанул! Молодец! — восхищенно говорил отец. Бабушка определила, что подбитый немецкий самолет упал где-то под Урывом или у Коротояка.

